

Н. М. Коншин

Граф Обоянский, или Смоленск в 1812 году

УДК 82-311.6
ББК 84-4
Н11

Н11 **Н. М. Коншин**
Граф Обоянский, или Смоленск в 1812 году / Н. М. Коншин – М.: Книга по Требованию, 2013. – 168 с.

ISBN 978-5-4241-1587-5

Роман И. Коншина "Граф Обоянский, или Смоленск в 1812 году" привлечет внимание читателя редким сочетанием романтического взволнованности и точных описаний военных будней

ISBN 978-5-4241-1587-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013
© Н. М. Коншин, 2013

Коншин Николай
Граф Обоянский, или Смоленск
в 1812 году

Николай КОНШИН
Граф Обоанский,
или
Смоленск в 1812 году
Хвала вам будет оживлять
И поздних лет беседы.
Певец в стане русских воинов
Часть первая
I

12 июля, часу в 11 ночи, по узенькой улице Орши, небольшого городка Могилевской губернии, окинутого грозными биваками французов, пробирались двое, оглядываясь поминутно на все стороны и разговаривая между собою так тихо, что самый чуткий фискал побожился бы, что они молчали. Один из них, высокий, осанистый, лет за пятьдесят человек, был жестяных дел мастер Ицка Шмуйллович Варцаб, кагалный города Орши, человек уважаемый между земляками, имевший на большой улице, недалеко от рынка, собственную свою мелочную лавочку и ежегодно возивший на ярмарку в Красный, а иногда отправлявший и в Смоленск высоко и широко нагроможденный воз звонких своих рукоделий. Другой, лет восемнадцати, длинношей, сухощавый, с большими серыми, навыкате, глазами и полуоткрытым ртом - был портной Берка Мардухович, племянник Ицки Варцаба.

- Ни лоскутка бумаги, - ворчал первый, пощипывая себе усы с уловкой, чтоб засторонить звуки голоса, - ни гроша денег чтоб не было с тобой, Берка. Боже тебя сохрани! Пуля и петля!

Молодой шел задумчиво, или, может быть, рассеянно; при последних словах он вздрогнул и поднял глаза на своего спутника.

- Не гляди так зорко, - продолжал первый, - иди себе прямо да слушай, что я говорю: никаких записок не бери с собой, ни лоскутка бумаги, ни даже ребячей мерки. Все может показаться подозрительным, а при малейшем подозрении сгинешь как собака.

Разговор временно пресекался; едва-едва раздавался шум походки двух приятелей.

- Видишь ли, какой свет во всех домах, - начал Ицка, повернув голову к окнам жидовских хижин, мимо которых теснилась улица, - все генералы стоят по квартирам, а из солдат одни только польские уланы в городе, другие же все в лагере; надобно часа чрез два собираться в дорогу.

- Так я теперь пойду домой, - сказал Мардухович, вытянув шею и заглядывая в глаза своему дяде, - меня такая дрожь проняла с твоих рассказов, что и в печи, кажется, не согреюсь.

В эту самую минутубрякнуло что-то вблизи евреев.

- Кто идет? - заревел вслед за сим толстый бас поляка, стоявшего на часах, за воротами дома, с которым они поравнялись.

- Солдат, солдат! - отозвался торопливо Ицка, между тем как пронзительное "ай, ай, ай!" портного мастера заглушало басистый оклик.

- Чего же ты боишься, Мардухович? - продолжал он по-польски, ободряя и себя и своего племянника. - Бояться нечего, мы свои; здесь наши приятели.

- Дьявол-жид! - вскричал спесивый поляк кампании 1812 года. - Может ли

быть шляхтич тебе приятелем!

- Господин служивый, - сказал твердым голосом Ицка, имевший, как замечали в Орше, удивительный дар не теряться в бедственных обстоятельствах, - господин служивый, - повторил он с видом покровительства, - не тут ли квартира ясновельможного пана князя Понятовского? Я фактор камердинера его милости.

Лукавый Ицка очень хорошо знал, что князь квартирует в гостинице, но, казалось, сими словами хотел возбудить в поляке большее к себе уважение: имя князя Понятовского было талисманом безопасности между польской вольницей знаменитой кампании.

- Поди от меня к черту с твоим камердинером, иудино отродье! - вскричал часовой, выскочив за ворота и отвесив звонкий фухтель по плечам Ицки.

- Как ты смеешь драться, как ты можешь драться! - завопил жестяных дел мастер, отбежавши на другой конец улицы, махая руками и почти задыхаясь словами своей угрозы. - Я на тебя найду суд, - кричал он, - я пойду к капитану, к майору, к императору; я честный еврей, обыватель города, кагальный!..

- Держи его, разбойника! - крикнул часовой, тряхнув звонкими ножнами своей сабли. И хотя на улице не было ни души, но вынести подобный испуг было уже свыше сил миролюбивых евреев; в голове у них зазвенело, сотня отголосков запищала в ушах. Подхватив длинные полы своих демикотоновых сюртуков, они пустились бежать.

- Сюда, сюда, Ицка, - шептал на бегу задыхающийся Мардухович, - вот мой дом, беги сюда; слышишь, скачет за нами в погоню кавалерия. - Они перепрыгнули вправо, чрез канаву, пробежали мимо высокой с крытым двором корчмы: калитка брякнула и, укрыв двух друзей, обеспечила безопасность их крепким железным засовом; молча и с трудом переводя дыхание, они вбежали в так называвшуюся у них большую горницу, и два бледные лица, осененные ермолками и придавленные к самым нижним стеклам оконницы, долго, как бы рядом намалеванные, виднелись с улицы, к луне, прямо обливавшей палевым светом своим корчму портного Берки.

Однако же, в половине первого часа, успокоенные продолжительною тишиною на улице, два приятеля снова отперли калитку и отправились в путь; из ворот налево, пройдя вдоль канавки несколько шагов, они заворотили в узенький между огородами переулок.

- Смелей, Берка, - говорил неустрашимый жестяных дел мастер, у которого еще отзывался в плечах деспотический фухтель, - смелее пойдем; помни, что обывателям объявлено покровительство императора Наполеона, а здесь его войско, стало быть, опасаться нечего. Что на уме, то на уме, - продолжал он, понизив голос почти до точки молчания и наклонясь к уху племянника, - а на языке почтение, благодарность; слышишь?

- Слышу, слышу, - шептал отважный Мардухович, кивая своей буйной головой, которою, вытянув вперед на длинной шее, зорко оглядывался по сторонам. - С чего ты думаешь, что я робею, я исполню свое дело как самый храбрый солдат.

Евреи достигли между тем до конца переулка и, вышед на довольно широкую улицу, очутились пред освещенным домом, обставленным оседланными лошадьми и ординарцами.

- Как много огней на Почтовом дворе, - продолжал Ицка Варцаб, - гостиница набита военными, иди же за мной, Берка.

Они вошли на крыльцо Почтового двора.

- Куда вы, куда вы, - раздалось со всех сторон по-польски, - кого вам надобно?

При сих грозных звуках портной мастер исчез между лошадьми, а Ицка Шмуйллович, почтительно снявший шляпу, сложил руки на грудь, под самой бородой, загнул на сторону голову и, униженно поклонившись окружившим его пестрым, различных форм и цветов, рыцарям, составлявшим почетные конвои собравшихся в гостинице офицеров, сказал польскому конноегерю, который ближе других случился к нему, что просит доложить о себе ясновельможному пану князю Понятовскому.

- Не с ума ли ты сошел, глупец, - отвечал неприветливый усач, - разве я адъютант князя или лакей его!

- Но, ваша милость, - продолжал Ицка, - мне ясновельможный пан князь приказал прийти к себе.

- А, так вы приятели с ясновельможным паном, - отозвался улан, у которого едва еще пробивались усы, - войди же в эту комнату и спроси его адъютантов. С сими словами он отворил дверь в освещенную залу, наполненную офицерами, и указал Ицке идти туда.

Еврей, обрадованный случаю избавиться от шайки беспардонных героев, уже приготавливаясь, с чего начать разговор с высокородными панами, как вдруг нога проказника улана запуталась в дверях, между костлявыми ногами его и полами черного демикотонового сюртука, и бедный жестяных дел мастер грянулся на пол с воплем и проклятиями. Его шляпа, его истертая ермолка покатались под ноги веселой молодежи, и громкий, всеобщий хохот заглушил, можно сказать, к счастью его, неосторожные слова, наскоро сорвавшиеся с его языка.

- Господа, господа, ради бога! - сказал вошедший в комнату полковник французской службы Данвиль, бывший адъютантом у князя Понятовского. - Генерал легко может услышать этот шум: его комнаты только чрез сени.

Офицеры, понимавшие по-французски, объяснили тотчас обществу о требующейся осторожности, и тишина мало-помалу водворилась. Ицка, поднявший шляпу и отыскивавший под ломберными столами последнюю утрату свою, ермолку, обратил на себя внимание адъютанта; он попросил одного польского поручика рассказать себе о его надобности и, выслушав, велел Ицке идти за собой.

Комнаты, занимаемые князем Понятовским, были по другую сторону сеней, разделявших все строение гостиницы на две половины. В первой со входа комнате, с одним на улицу окном, находился в то время ординарец, заслуженный ветеран, с поседелыми усами - редкость того времени - и камердинер князя, француз Луи, человек около сорока лет, видный, обросший бакенбардами брюнет, загоревший как араб. Ординарец сидел в углу на стуле, подле самых дверей в сени, держа на коленях свою светлую каску, подпершись локтем и пристально глядя в глаза камердинеру, который, наклонись к стоящей на окне свече, читал новый императорский бюллетень и силился кое-как передать его по-польски своему собеседнику с помощью всевозможных жестов. Вторая комната была обращена в приемный зал; она казалась довольно пространна и чиста; прямо

против дверей, между окнами, висело порядочной величины круглое старинное зеркало в золотой резной раме, а на столе пред ним горела восковая свеча в походном серебряном подсвечнике, свинченном из треугольной плитки и стаканчика; направо были два окна на улицу, а налево дверь в кабинет князя.

В описываемое время в кабинете было два человека; один сидел прямо против дверей на походной кровати, толсто уложенной сеном и покрытой тяжелым опушистым ковром. Пред кроватью был большой стол, на котором лежало несколько книг, часы, лорнет и курительная трубка, стояло несколько бутылочек с духами, чернилица и две свечи, а посредине всего этого небрежно положен был золотой медальон с изображением молодой женщины. Сидевший или, вернее сказать, полулежавший на кровати человек был видный, прекрасный воин, большого роста, в синем сюртуке с большими генеральскими эполетами; одна рука его еще придерживала трубку, которую он только что положил на стол, а другая, поднятая на голову, перебирала пышные белокурые волосы и остановилась на челе. Большие голубые глаза, полные неги и силы, свежесть лица, прекрасный стан, мужественные формы отличали благородного Понятовского в толпе его земляков. Надежда энтузиастов, любимец женщин, кумир воинов, он соединял в поэтической душе своей и силу героя, и самоотвержение мечтателя. По правую сторону стола качался, вытянувшись в креслах, маршал Даву, видный мужчина, полусожженный солнцем, с улыбкою глядя на князя, с которым, по видимому, только что перестал говорить.

- Ах, герцог! - начал Понятовский, не переменяя своего положения. - Вы ее не знали, если это утверждаете; если же вы знали ее, то худо... она лукава... О! Она лукава!

Маршал захохотал.

- Я солдат, милый князь, - сказал он, - в делах сердечных я небольшой знаток, при том же мы с ней были в нейтралитете.

Понятовский не слышал его. Взоры его быстро и внимательно, казалось, впелись в кого-то невидимого; на чело набежали мысли, улыбка негодования судорожно повела уста, он снял руку с головы и подперся ею. Даву два раза уже обращал к нему речь и не получал ответа.

- Браво, князь! - вскричал он наконец, ударив в ладони. - Какое красноречивое отчаяние!

Слова сии пробудили Понятовского. Прекрасное лицо его вспыхнуло, глаза блеснули, стан поднялся; оскорбленное достоинство отразилось во всем его существе, улыбка благородной самоуверенности осияла лицо. Он встал, перешагнул чрез вытянутые ноги маршала, сделал несколько шагов вперед и повернулся опять к нему:

- Послушайте, герцог, - сказал он, - ведь я знаю вас, этот род людей, отлитых в условленную форму... Вы не люди... вы книги... систематические книги... Ваше заглавие - мундир. Смешно было бы найти в гениальном произведении, в какой-нибудь рекрутской школе листочек о любви.

Маршал хохотал от всей души, смотря на важный вид декламатора.

- Смейтесь, но слушайте, - продолжал князь, - душа, доступная к ощущениям великим, разнообразна, любезный герцог, как разнообразны самые ощущения. С царскою свободою она переходит от одного из них к другому, ибо все прекрасное - прекрасно. Думаете ли вы, что перед лицом полубога, перед лицом этого коро-

нованного исполина, я менее вашего увлекаюсь его обольстительным гением, оттого что у меня на груди дамский портрет! Но, герцог, я люблю ее отнюдь не менее оттого, что Наполеон очень умен, как вы не меньше оттого любите хороший обед.

Товарищи засмеялись оба при последних словах.

- Огненная голова, - сказал Даву, встав с кресел и обнимая Понятовского, как бы я желал видеть на ней корону.

- Итак, герцог, мне позволено любить?

- Любите, но поспокойнее.

- Да разве я беспокоен?

Маршал не успел отвечать: дверь отворилась, и полковник Данвиль доложил князю о приходе жида.

- С позволения герцога, - сказал Понятовский, обращаясь к Даву, - я отдам некоторые приказания.

Маршал поклонился, и, по данному адъютантом знаку, кагальный города Орши, жестяных дел мастер Ицка Шмуйлович Варцаб, согнувшийся из почтения дугой, мало-помалу вдвинулся в кабинет.

- Земляк, - начал Понятовский, подойдя к дверям и ободряя жида ласковой миной, - весть, тобой принесенная, справедлива; уже получено сведение, что русское передовое войско заняло дорогу к Красному; очень рад, что тебя не за что повесить. Бескорыстие твое доказывает честность и искренность в общем нашем деле; но от меня ты взять себе на дорогу должен: тебе дадут двадцать червонцев.

Ицка, едва разогнувшийся, снова согнулся при такой милости.

- Слушай же, - продолжал князь, - я приказал нарядить конвой из старых солдат для препровождения в русский лагерь одного известного мне монаха и с ним купца; ты пойдешь при сем же конвое. Из лагеря, без сомнения, тебя пустят в Смоленск, где ты и обязан собственными глазами осмотреть, как расположена армия: то есть по сю сторону города или сзади, и заметна ли какая новая земляная работа около стен; потом, поговорив с своими приятелями, кто из них что знает относящегося к нашему предмету, возвратись ко мне. Знай, что это поручение большой важности; в два дни оно может тебе принести больше барыша, чем в десять лет твоя корчма. Мне за твою верность поручился каган ваш. Прощай!

Жестяных дел мастер, призвав ясновельможному пану князю всех пророков в свидетели своей преданности, сложив руки на грудь, отворил спиной дверь и с низкими поклонами совершил искусное отступление в зал, где долго еще раскланивался и со стенами и со стульями. В передней камердинер выдал ему двадцать червонцев, а ординарец, для защиты от шалунов, услужливо проводил его с крыльца, в нескольких шагах откуда белокурая голова длиннеего Мардуховича приветливо закачалась из-за плетня навстречу к дяде.

II

Яркое вечернее солнце следующего дня освещало лес, тянувшийся вдоль большой Смоленской дороги, в тридцати верстах от Орши; в душном, жарком воздухе уже начинала веять прохлада; тени деревьев становились длиннее, и, тогда как стороны их, обращенные к солнцу, густо облиты еще были розовым золотом с востока, ароматическая свежая зелень, обрисованная резкими тенями вечера,

приглашала в приют свой утомленного путешественника. В трех верстах от почтовой станции в местечке Козяны, в виду Днепра, высокий лес отступил от дороги широким полукругом, и на зеленой поляне повсеместные в том крае жида выстроили корчму и подобно прочим наводняющим гостеприимную Россию дельным и неделным чужестранцам, не с меньшею ловкостью найдя слабую сторону туземцев, преблагополучно поживали на счет их.

Лицевая сторона корчмы была на дороге, шагах в четырех за канавой, через которую не было нужды делать мост, потому что и посетители, и хозяева веселого дома разъездили ее как нельзя глаже. Четыре окна с бесчисленными стеклами, целыми и разбитыми, глядели на дорогу из жидовского жилища; чрез них-то от гостеприимного Иохима, или как его звали соседи - Хамки, не пропущен был дотоле без оклика и доброго слова ни один прохожий; часто наскоро, выставя рот в дыру разбитого стекла, он красноречиво рассыпался в приветствиях перед толпой набожных прихожан, бредущих в костел, между тем как за воротами его Сарра с тремя маленькими наследниками, кивая головой и величая по имени каждого, просила после обедни побывать у них, на чарку горелки.

В корчме, направо, у самых дверей, была огромная печь, а налево стояли стол и стулья для посетителей, сзади коих из-за стойки выглядывала соблазнительная горелка, со всеми для нее принадлежностями. Печь в корчме у Хамки была достопримечательная: перегородка ее, отделяющая за особую каморку, скрывала ее доморощенные таинства от не посвященных в оные. Между стеной и правым краем этой печи лежал толстый обрубок бревна, на котором обыкновенно худощавый корчмарь, а иногда и дородная его сожительница, кололи дрова для топки; порубленные бока дерева показывали каждому наблюдателю ежедневное оного употребление; но для хозяев этот пень был драгоценнейшим на земле сокровищем: замысловатый Хамка высверлил в нем глубокую дыру, которая так искусно закрывалась особенною вделкою, что ни один глаз во всей Могилевской губернии не различил бы ее. В этой пустоте скрывалась казна корчмы, вымороченная от добродушных христиан и обращенная в звонкую монету, и скрывалась в полной безопасности от людей неблагонамеренных.

Под печкой у Хамки существовало другое таинство. Отверстие, которое обыкновенно служит в черных печах для ухватов, лопат, помела и прочей утвари стряпни, для гибкого и тонкого корчмаря было убежищем от излишних требований проходящих солдат, а иногда и от земского заседателя. Сарра обыкновенно в таком случае отбавивалась, что нет дома ее мужа, что он в городе, или в местечке, или где-нибудь на ярмарке, и никогда еще не случалось, чтоб самые тщательные розыски открыли малейший след существования Хамки под печью, из-под которой нашел он возможность пролезать под пол корчмы и быть уже в совершенной безопасности. Хитрый жид пользовался сим способом и с целью политической; он забивался под пол подслушивать своих гостей: не имеют ли какого замысла на его достояние. Эта привычка овладела им с того времени, как однажды зазванные посетители его, сговорясь, украли у него два штофа горелки, семь стаканов и лисью шапку. Для подобного наблюдения подле самой печи, под лавкой в корчме был проломан конец гнилой половицы; в это отверстие, спустясь под пол, Хамка выставял свою голову, которую Сарра обыкновенно накрывала дырявым горшком. Из-под него-то второй тиран Сиракузский вероломно подслушивал искренние беседы гуляк, никак не помышлявших быть подкарауленными

на неосторожной подчас откровенности. Лукавый корчмарь уже насчитывал другой десяток целковичков, собранный им посредством этой хитрости в последнее четырехлетие своего арендаторства.

Но теперь корчма Хамки представляла плачевное зрелище; давно уже доносились до него вести о близости неприятелей, но все еще было тихо; а потому и считалось это пустою сказкою. Наконец дня четыре назад, уже по закате солнца, услышал он стук у дверей, не предвещавший доброго; слез с кровати и, на цыпочках прокравшись к окну, с ужасом увидел отряд польских всадников, стоящий на дороге. Миротлюбивое сердце его замерло; напрасно раздавались за дверью стуки и угрозы - он не мог отпереть: страх лишил его и языка и сил. Кончилось тем, что крючки и петли изменили его безопасности, дверь брякнула на крыльце, и три грозные усача с нагайками, как адские тени, явились в корчме с восклицаниями: "Жид, хлеба и денег!" Страшные слова сии и посыпавшийся по плечам Хамки град ударов пробудили его из оцепенения. Сначала он бросился было бежать, но в дверях четвертый молодец встретил его фухтелем; опамятававшись еще более, он вспомнил свое убежище, кинулся опретью под печь, но какой ужас поразил его, когда увидел, что отверстие занято чьим-то туловищем. Сарра в испуге захотела воспользоваться правом своего супруга: полезла и завязла. Что делать? Он, накинув на себя сюртук без локтей и без пуговиц, явился к гостям.

- Господа, - сказал он, - погодите, я вздую огня, подам горелки и попотчую чем могу.

- Давно бы так, проклятый жид, - загремело приветствие посетителей, поворачивайся же скорее!

Но зачем утомлять читателей печальными подробностями несчастья обитателей пустынной корчмы. Когда-нибудь муза Истории, - к слову сказать, не всегда беспристрастная, - извлечет их из забвения. Итак, корчма Хамки представляла, как выше сказано, плачевное зрелище. В ней не было уже ни капли горелки, ни куска хлеба; пол был разломан, перегородка обрушена. Грустный, полупомешанный корчмарь ходил как тень вдоль и поперек своего прежнего жилища по уцелевшим половым балкам и только поглядывал на Сарру, державшую на руках детей и сидевшую за печкой, на обрубке дерева, известном уже читателям. Глаза его, кажется, спрашивали ее совета: как бы достать сокровище, так искусно сохраненное, которое умели они не выдать даже под муками истязания; но возможности не представлялось, крыльцо и двор корчмы наполнены были польскими уланами; легко было возбудить в них подозрение и лишиться того, без чего жизнь была бы им нищенским бременем.

Уланы, расседлав лошадей, варили кашу под крытым двором корчмы; между ними не слышно было никакого буйства; офицер сидел на скамье за воротами и курил трубку; перед ним стоял, известный читателям, жестяных дел мастер Ицка Шмуилович Варцаб, рассказывая, какие сокровища находятся в Смоленске под башнями и как русские поклялись защищать их до последней крайности; что есть два подземельные хода под Днепром, где лежат старинные польские оружия с незапамятных времен и прочее и прочее.

В сие время человек в черной венгерке с седыми усами подошел к офицеру и, поклонившись, сказал русским языком на польский манер, что господа желают поговорить с его благородием. Офицер встал, положил трубку, привел в порядок платье и пошел в сопровождении пригласителя.

На поляне сзади корчмы, под тению густого березняка лежали на ковре два человека: один был в монашеском одеянии, высокий, худощавый, с черными глазами, выразительными и блестящими, лет пятидесяти от роду; другой имел уже лет за шестьдесят; остаток бурных страстей жизни еще отсвечивал в его суровом взоре; он был огромного роста; бодрость и сила видны были во всех его движениях; тонкий суконный казакин оливкового цвета обрисовывал видный его стан; зеленый кожаный картуз с огромным козырьком покрывал его голову, седую как снег. К ним подошел польский офицер.

- Хозяин сей корчмы совсем разорен мародерами, господин офицер, - сказал монах, ласково протянув ему руку, - вы сами это видите, а потому я хотел бы взять его с собой до русского лагеря, а там он проберется в Смоленск к своим родным; надеюсь, что вы мне это позволите?

Открытый, величественный вид монаха и его благородный язык показывали в нем человека, принадлежавшего некогда к высшему кругу общества.

- Мне приказано повиноваться вам, святой отец, - отвечал офицер, - итак, вам остается приказывать.

- Будучи благодарен князю Понятовскому, - сказал монах, - за доверенность его ко мне, я вдвое благодарен ему за прекрасный выбор нам защитника; я уважаю вас, благородный неприятель, за вашу готовность на доброе дело. Позвольте же хозяевам корчмы собираться в дорогу, так чтоб люди ваши не беспокоили их прощанья с своими развалинами; по своему обряду они должны помолиться в уединении: пусть же все выйдут из их покоя.

Офицер удалился, обещав немедленно все это исполнить.

- Каких сцен мы свидетели, любезный Евгений, - сказал старик монаху, когда они по-прежнему вдвоем остались на лугу. - Наша Россия атакована Европою; мы видели бесчисленные полчища, дерзнувшие своевольно попить священную землю, скрывающую прах отцов наших... - Он умолк, густые черные брови его нахмурились. - Я боюсь, - продолжал он наконец, - чтоб какое-нибудь новое непредвиденное препятствие не восстало на пути моем.

Монах встал, в выразительных чертах лица его вспыхнула досада.

- Друг мой, - сказал он, - ты на старости стал малодушен. Зачем тебе представлять все чудовищным, чтоб пугаться после самому; я давно замечаю, что ты упал духом. К чему ведет эта мрачность?.. Молись лучше!

Старик протянул руку к своему товарищу в знак примирения, встал и, сделав несколько шагов в сторону, действительно начал молиться, а монах вышел на большую дорогу.

Солнце уже закатилось; но запад, окруженный легкими, прозрачными облаками, пылал еще миллионами огней, в них разнообразно отражавшихся. Великолепная природа, освеженная росой, пышно лелеялась, совершив торжество дня: так юная красавица, освободясь от душных праздничных одежд, ревниво сжимавших ее эластический стан, нежится в тайном полусвете будуара своего; полупрозрачная ткань облегает округлости ее обольстительных форм... Такая роскошь в ее положении, в ее беспорядке... она вся наслаждение, вся любовь... Прекрасна была она час назад в благоухающей зале, в огне искусственного дня, на прозрачном паркете, отливавшем яркие гирлянды ее платья... но прекраснее она теперь, в этой лени, в этой упоительной неге, этой неограниченной, всемогущей прелести!